

Борис Пустынцев

Интервью брал Николай Крыщук

Еженедельник «Дело», Санкт-Петербург. —2005

“В пятнадцать лет я уже был антикоммунистом”.

Борис Пустынцев

В пятнадцать лет он вешал на стены в своей комнате портреты Деникина и Корнилова. В двадцать один выступил против подавления Венгерской революции. В двадцать два был осужден советским судом на шесть лет лагерей. Сейчас Борис Пустынцев является председателем общественной правозащитной организации “Гражданский контроль”.

Джаз и политика

– Борис Павлович, в двадцать один год Вы совершили поступок, который можно считать началом Вашей взрослой биографии. Чего было больше в этом вызове власти: темперамента молодости или сознательной жертвенности? Насколько Вы представляли реальные последствия этого поступка? Или в нем было нечто роковое, что не поддавалось расчету и воле?

– Была неистребимая потребность отмежеваться, заявить: вы – преступники, мы – не с вами. Я, может быть, не совсем типичный случай, потому что к тому времени уже давно был “отщепенцем”, антикоммунистом. Это принимало самые разные формы и началось очень рано, лет в пятнадцать, когда я вешал дома на стенке портреты Деникина, Корнилова, штабс-капитана Неженцева, полковника Дроздовского, вырезанные из эмигрантского журнала, изданного в 20-х годах в Харбине и после войны неизвестно как попавшего во Владивосток, где мы тогда жили. И, естественно, нарывался на крупные неприятности.

Вот как я в первый раз “подвергся политическим репрессиям”. Шла корейская война. У отца, который тогда был начальником технического отдела огромного судостроительного завода, на стене висела карта театра военных действий. Тогда в “канцтоварах” продавались миниатюрные красные флажки на булавках. И каждое утро, уходя на работу, отец ставил на карте линию фронта так, как ему ее представляли советские радио и газеты.

Я к тому времени уже много лет слушал и на русском, и на английском “вражеские голоса” и представлял, где в действительности проходит фронт, знал, что наши радиостанции врут в три горла. И однажды не выдержал. Отец ушел на работу, я вошел в его кабинет. Почему-то флажки голубого цвета (флага ООН) в магазинах не продавались. Я вырезал из бумаги флажки, сам покрасил их и провел параллельно линию фронта там, где она на самом деле проходила.

Отметелил меня отец по полной программе: несколько дней я не мог показаться на улице. Он лупил меня и приговаривал: “Почему ты не думаешь о семье?! Почему ты не думаешь о матери?!” Время-то было еще сталинское, я только позже осознал риск, которому подвергал семью.

– То есть причиной “репрессий” был страх, а не его советские убеждения?

– Отец не был правоверным коммунистом: дома в ходу были соответствующие шуточки. Но отец был, что называется, имперским человеком. Он мне твердил и до лагеря, и после того, как я вышел: “Как ты не понимаешь? Большевики сделали главное: они сохранили империю”.

Очень сложные у нас были отношения. Вообще говоря, я подрубил отцу карьеру. Это случилось уже в Ленинграде.

1957 год. Между родителями шушуканье, праздничное настроение: отцу предложили пост заместителя министра судостроения. Семья должна перебираться в Москву. Пару недель родители обсуждали планы, где поселиться: на Таганке, поближе к бабушке, или на Кутузовской набережной, где жила правительственная элита. Тут меня арестовывают, и разговоры о должности замминистра, естественно, закончились.

Но отец был для них настолько ценным “кадром”, что его не сняли. Хотя он был уверен, что снимут. До него директора в ЦКБ “Рубин” менялись каждый год. А он проработал на этом месте с 1951-го по 1977-й, до самой смерти.

– Поясните, как в Вас, молодого человека, да еще в то глухое, зашторенное, монолитное время могла проникнуть антикоммунистическая зараза?

– А эта “зараза” проникла вместе с другой “заразой” – с джазом. Я стал ловить по радиоприемнику какую-то странную музыку, которую не слышал дома и которая мне все больше и больше нравилась. Это был джаз. Сначала это были биг-бэнды: Гленн Миллер, Дюк Эллингтон, Бенни Гутман, Билли Мэй, Арти Шоу. А с конца 40-х стал звучать “би-боп”. И вот он меня совершенно покорило. В конечном итоге, это вошло в привычку, я под него засыпал. А потом меня стало раздражать, что я не понимаю, что они говорят до и после музыки.

Я начал изучать английский, пользуясь тем же стареньким радиоприемником. Тогда были такие передачи – Special English. Они давали сводку новостей очень медленно и два раза повторяли ее. А потом третий раз давали сводку уже в обычном режиме. Я довольно быстро стал воспринимать не только музыкальную информацию, но и социальную, и политическую. Неизбежно стал сравнивать ее с той информацией, которую получал дома. Параллельно вокруг меня происходили события, которые все больше убеждали, что здесь я слышу, в основном, вранье.

Однажды мы шли с моим приятелем из школы, и перед нами упал человек. Мы подошли к нему, помогли подняться. Нам казалось, что это старик. Потом выяснилось, что ему было всего сорок пять лет. Это был зек, выпущенный из лагеря умирать. Тогда существовала так называемая “активировка”: если зек был неизлечимо болен, его (из экономических, наверное, соображений) “активировали” – отпускали умирать домой. Этот институт не был прописан в законах, но в сталинское время был широко распространен.

Мы помогли этому человеку дойти до дома. Я жил в сравнительно благополучной семье, и меня поразила его голая комната. Продавленная тахта, малярские козлы (это был стол), одна табуретка – всё.

Чем-то он меня задел. Спустя несколько дней я зашел просто узнать о его здоровье, потом еще раз. Из родственников у него была сестра, и однажды я ее застал. Она увидела, что к брату ходит какой-то пацан, очень обрадовалась, стала давать мне деньги, чтобы я приносил продукты, а сама появлялась раза два в месяц. Постепенно он ко мне проникся и стал рассказывать о том, что такое советский лагерь и кто там

сидит. То, что он рассказывал, во многом совпадало с тем, что я слышал по западным радиостанциям.

У нас в школе было много детей из семей “начальников”. Когда до Владивостока докатились репрессии конца 40-х годов, из класса стали постепенно исчезать ученики и среди них мои приятели: один, второй, третий... Это означало, что родители арестованы и детей переводили в какие-то другие школы. Но я знал некоторых родителей и понимал, что никакие они не враги народа, что это бред.

По дороге из школы я проходил мимо военного госпиталя, где, в частности, выздоравливали наши военные летчики, сбитые на корейской войне. Официально объявляли, что там воюют корейцы и китайские добровольцы. Я проходил мимо этого госпиталя, окруженного забором из железных прутьев, через которые можно было просунуть руку. И вот они мне: “Парень, купи “Беломора””.

Я приносил, что они просили, и садился на парапет – нас разделял только частокол. Постепенно они ко мне привыкли, а мне было очень интересно слушать их разговоры между собой. Из их бесед мне скоро стало ясно, кто начал эту войну и кто там воюет. Много было таких отдельных случаев, но постепенно все они сливались в общую картину.

Арест. Суд

– Значит, если иметь в виду события 1956 года, Вы себе уже вполне представляли, что Вас ждет. Или нет? Сталин все же умер. Может быть, сплелись большое обстоятельство (собственно венгерские события) и малое (кто-то предложил распространять листовки, и Вы оказались заложником товарищеской договоренности)? Или же, повторюсь, это был поступок абсолютно зрячий и осознанный?

– Всё вместе. Конечно, мы надеялись избежать ареста – на дворе все-таки была “оттепель”. Нас, в конечном итоге, арестовали девятерых.

Мы нашли друг друга постепенно, прежде всего в родном Институте иностранных языков. Вскоре сам собой организовался своего рода клуб, где за бутылочкой обсуждались роль государства в обществе, проблемы свободной прессы и т.д., вплоть до колхозной системы. Мы собирались у Геннадия Дмитриева, историка-медиависта из Университета. Он был на два года старше меня, жил в коммуналке, но один, без родителей. Люди в этом “клубе” были самые разные, но вскоре события в Венгрии смели почти все разногласия.

Были марксисты, которые мечтали о югославском варианте развития социализма, были так называемые ленинцы (“оплевано прекрасное”). И были двое “буржуазных перерожденцев”, как нас потом называли следователи КГБ, – Валентин Малыхин и я. Мы спорили друг с другом по разным вопросам до хрипоты, но эту Венгерскую Революцию мы восприняли как свою собственную. Сначала – Польша, Познань, 1956 год. Потом через полгода – Венгрия. Впервые мы увидели, что режим можно заставить хотя бы на какое-то время отступить.

Когда в Венгрии началась революция – демонстрации, студенты, рабочие в первых рядах, – наши апологеты югославского варианта сияли от счастья. Другие к этому относились более скептически: ну, не знает эта власть компромиссов, задавит. Но когда стало известно, что советские танки вдруг ушли из Будапешта, я тоже поддался общему ликованию.

Однако через несколько дней танки двинулись обратно, начались уличные бои. Рушилась надежда, мы были в отчаянье. Западное радио снова стали глушить, но что-то все же прорывалось, что-то было слышно. А я слушал новости на английском и приносил, что удалось записать, ребятам. Покойный Александр Голиков, мой лучший друг, тогда предложил мне: “Давай хоть листовки напишем”. Нашли в институте пустую аудиторию и накропали листовку. Алик тоже был, как потом говорили, “евромарксист”, но не упертый, у нас с ним не было разногласий по поводу содержания. Листовка начиналась такими пафосными словами: “Граждане! В коммунистической цитадели появляются первые трещины. Это доказывают события в Польше и Венгрии, где народная свобода подавляется гусеницами советских танков...” И так далее. И – призывы к протестам.

Принесли текст для обсуждения в “клуб”, где марксисты сказали: “Нет, социализм – это святое!” В итоге бурных дебатов появились два варианта. Они написали так: “Граждане! Знамя ленинизма растоптано. Сталинщина продолжает существовать. Об этом свидетельствуют...” – далее текст был тот же самый.

Эти листовки в двух вариантах мы распространяли в своем институте, в университете на нескольких факультетах. Раскидали несколько листовок в кинотеатре “Октябрь”.

Заложил группу один из участников “клуба” – знакомый со стороны Дмитриева, мы его мало знали. После обсуждения текста листовок он больше не появлялся. Потом оказалось: он покаялся отцу, что попал в “дурную компанию”. А отец отвел его за шиворот в Большой дом. Но формально дело начиналось с другого эпизода.

После окончания следствия тебе дают знакомиться с делом. Открываю первый том: допрос человека, который принес в КГБ первую листовку. “Такого-то ноября зашел я в мужской туалет истфака Университета, у окна стоял человек и что-то читал. Я подошел к нему и спросил: “А что ты читаешь?”” (Вот так просто: подошел к незнакомому человеку и спросил). Вероятно, репутация у этого “любопытного” была уже соответствующая, потому что “незнакомый мне человек ответил: “Ничего”, порвал листок и бросил его в корзину для использованных бумаг. Когда этот человек вышел из туалета, я собрал порванный листок и убедился, что это листовка антисоветского содержания”. Правильно сложенные и наклеенные обрывки листовки прилагались.

Но началось все, конечно, с первого доноса. А арестовали нас только через полгода: решили раскрутить группу, чтобы сделать ее покрупнее – больше звездочек на погоны, больше заслуг. Сосед уже после моего освобождения рассказал, что видел, как гэбисты устанавливали на чердаке аппаратуру подслушивания.

На слежку мы тогда особого внимания не обращали, опыта не было. К нам чуть позже присоединились двое москвичей, которые к венгерским листовкам не имели никакого отношения. Тем не менее, им по нашему делу впаяли по пять лет. ГБ предполагала следить за нами и дальше (давайте, давайте, ребята, расширяйтесь!), но Малыхин устроился работать в порт грузчиком с одной целью: проникнуть на иностранный корабль и бежать из СССР. Сначала в порту арестовали его, потом нас.

Запрет на профессию

– Скажите, а почему в 1984-м КГБ вынес Вас с “Ленфильма”, где Вы были автором синхронных текстов на дубляже фильмов? Ведь с момента выхода из лагеря прошло уже двадцать лет.

– В общем, у КГБ были причины не выпускать меня из поля зрения за эти двадцать лет: и допросы были, и периодическая слежка. А в 1982 году на “Ленфильме” сменилось

начальство, и новый директор привел с собой новую команду. В том числе начальника отдела кадров Фадеева, который сначала почистил штатных работников, потом принялся за внештатных.

Пустынцев – фамилия редкая. Не тот ли самый Пустынцев? Оказалось, что тот. Выяснилось, что 25 лет назад Иван Фадеев был одним из тех гэбэшных оперативников, которые “разрабатывали” нашу группу, – следили, прослушивали. Он вызвал директора цеха дубляжа и сказал: “Кино – это идеологический фронт, и Пустынцев здесь работать не будет”.

Директор ко мне хорошо относился и стал ломать голову, как меня сохранить и “гэбуху” надуть. Я сначала ничего этого не знал. Вдруг мне перестали давать дублировать западные фильмы: дают гэдээровский, эстонский, польский, латышский... Дело в том, что, если фильм западный, в титрах обязательно указывалось имя автора синхронного текста. А в фильмах стран соцлагеря или союзных республик в титрах давали только имя режиссера дубляжа. Дублированный фильм обязательно показывают худсовету, начальству. Моей фамилии в титрах нет. Так продолжалось больше года.

И вот однажды этот Фадеев встретил меня у кассы, когда я получал деньги за очередной дубляж. Только я отошел, он хватать ведомость! В общем, больше я на “Ленфильме” не работал. Мало того, Фадеев оповестил все студии страны, что КГБ возражает против моей работы в кино. Испугались почти все, но вот что сказал на это директор “Таллинфильма”: “Для нас это лучшая рекомендация”. И они завалили меня работой, тарифицировали как режиссера дубляжа. Даже предлагали вообще переехать в Таллин. Потом этот “запрет на профессию” позволила себе нарушить рижская киностудия.

Шизофрению лечат

– Борис Павлович, все последние годы Вы занимаетесь правозащитной деятельностью. Но что это такое? Для человека, живущего обыкновенной жизнью, это тайна за семью печатями. Политологов и лидеров партий мы художественно иногда читаем и видим на экранах. Вас к СМИ подпускают редко. Власть относится к Вам не слишком радушно, хотя уже и не гнобит, как прежде. Своего печатного органа у Вас нет. Организовать людей на акцию протеста Вы не можете. Резонанс в обществе от Вашей деятельности ничтожный. Чем же Вы, существуя на западные гранты, занимаетесь?

– Только на нашу “Памятку по защите прав жертв преступлений”, пятитысячный тираж которой разошелся в считанные месяцы. Мы получили заявки от муниципальных образований, других правозащитных организаций, ГУВД на 11 000 экземпляров, да еще в Новгород в областной суд две тысячи отошлем, когда новый тираж отпечатаем. Наверное, в мировом масштабе резонанс действительно ничтожный. А на отсутствие интереса к нашей работе в Питере и ряде других центров России пожаловаться не можем. Мы – не партия и не политическая организация, свой печатный орган нам как-то ни к чему. А регулярные бюллетени, разъясняющие гражданам, как защищать свои права, мы издаем. И СМИ о нас достаточно пишут. Поверьте, иногда интервью не получаются просто из-за недостатка у нас времени.

Власть, говорите, не слишком радушно к нам относится? Знаете, если она начнет к нам радушно относиться – значит, мы не выполняем своих контрольных по отношению к ней функций и нам нужно разбежаться. Неправительственные организации есть во всех странах, даже самых демократических: у любой власти неизбежно образуется свой

корпоративный интерес, и любое государственное ведомство неизбежно стремится расширить пределы своих полномочий в ущерб правам граждан. Но есть общества, которые позволяют власти делать это безнаказанно, а есть такие, которые не позволяют. Российская власть пока еще насмерть стоит за недопущение контроля со стороны неправительственных организаций. В последние годы на этом фронте она даже перешла в наступление, но, по большому счету, исторически, это уже арьергардные бои, которые чиновник, в конце концов, проиграет.

Мы пытаемся заставить власть выполнять свои обязательства – этим и определяются наши с ней отношения. Если власть позитивно откликается на наши инициативы, то мы с ней сотрудничаем, если нет – мы в оппозиции.

Президент Ельцин (при всех его ошибках и даже преступлениях, если говорить о первой чеченской войне, в которой он все-таки покался) с настойчивостью бульдога добивался, чтобы Россия вступила во все значимые международные организации. Следовательно, приближал Россию к Европе. Были остановки на этом пути, отступления, но вектор движения он все же выстроил.

Сегодня во власти полно людей, пытающихся изменить этот вектор, снова направить Россию по “особому пути”, который в прошлом принес столько страданий и нам самим, и другим народам. В этих условиях давление международного общественного мнения – самое эффективное средство заставить нашу власть соблюдать подписанные ею международные соглашения в сфере прав человека. К сожалению, международное сообщество на многое происходящее в России закрывает глаза в обмен на наш скромный вклад в борьбу с международным терроризмом.

“Оранжевой” революции не будет

– Вы уповаете на международное общественное мнение. Значит ли это, что Вы не можете опереться на мнение внутри общества?

– Не мне Вам рассказывать, есть ли у нас общественное мнение. У нас оно складывается постепенно, очень постепенно. Сейчас этот процесс практически остановлен.

– Но кто-то его должен формировать?

– Вообще-то, никто не должен: в условиях свободы обмена информацией общественное мнение создается само собой. Другое дело, что власть всегда и везде пользуется любой возможностью заняться формированием суррогата общественного мнения, собственным “пиаром”. Российская власть в этом сегодня весьма преуспела.

– В одной из статей Вы цитируете слова министра Сергея Иванова, который по отношению к правозащитникам применяет выражения вроде “правозащитный синдром”, “реформаторский бред” и “маниакальное противопоставление себя государству”. К таким формулировкам, утверждаете Вы, прибегали еще психиатры советского времени. Власть уже практически завершила круг в возвращение к советским методам руководства. Ставите ли Вы перед собой задачу смены этой власти?

– Побойтесь Бога! Если бы полностью вернулись советские методы руководства, то вот это интервью Вы бы у меня брали только за колючей проволокой. Хотя закрытость исполнительной власти, особенно на федеральном уровне, стремится к абсолюту, она сегодня далеко не однородна, и на отдельных участках возможны прорывы. Российское общество все еще динамично, оно может развиваться в любом направлении. А пока есть динамика, есть и надежда.

– Но как можно помогать государству, которое, сейчас уже вполне очевидно, построено не на правовых основах? Не кажется ли Вам, что с этой властью мало просто сотрудничать для уточнения, изменения, дополнения законов, ее надо менять?

– Смены власти по “оранжевой” модели не будет: в отличие от Украины, у нас слишком сильны имперские комплексы. Сегодня мы имеем, скажем так, “чекистскую” власть, которая подобные комплексы сама и нагнетает. В результате происходят два параллельных процесса. С одной стороны, это усиление авторитарных, изоляционистских тенденций во власти и в обществе. С другой – продолжение – по инерции – процесса вовлечения России в международное сотрудничество, благодаря которому в государственных ведомствах появляется все больше людей – и чиновников, и судей, и полицейских, – которые “хотят в Европу”. Россия сегодня все-таки открытая страна. И вот наш судья приезжает в Европу и видит, каким уважением пользуются его коллеги на Западе. Слово судьи там выше слова любого короля и президента. Ему это нравится. В какой-то момент он говорит себе: “Черт возьми, а чем я хуже?” Но подобное отношение означает, что граждане верят в компетентность судьи и его абсолютную независимость. И наш судья начинает хотя бы мечтать о таком положении вещей. То же самое с полицейскими. Я наблюдал в Лондоне, как одна пожилая дама пытается перейти улицу. На сигнал светофора она перейти не успевает и вынуждена семенить обратно. Крутит головой, смотрит вокруг растерянно. И вдруг увидела полицейского, просияла и бросилась к нему. Для большинства англичан полицейский существует для того, чтобы им помогать. И многие наши милиционеры, прошедшие стажировку на Западе, понимают преимущества подобной системы отношений с обществом. Просто процесс таких перемен очень длительный, его плоды будут пожинать следующие поколения.

– В этом есть элемент столь любезного нам романтизма. Но не смущает ли Вас такое метафизическое явление, как необратимые изменения, которые происходят с человеком во власти? Гораздо легче сохранять нравственную чистоту, будучи в оппозиции.

– Какой выход Вы предлагаете? Покупать оружие и уходить в леса? Или ты подталкиваешь эту власть и стараешься постепенно создавать механизмы контроля, несмотря на все трудности, или умываешь руки. Альтернативы нет.

– Кратко говоря, для того, чтобы заниматься правозащитной деятельностью, нужен определенный заряд веры. И он у Вас есть.

– Россия слишком изменилась за эти годы, чтобы ее можно было вновь загнать в тоталитарное стойло. Пусть никого не вводит в заблуждение внешняя покорность губернаторов и бизнеса. Управление такой огромной страной из единого центра возможно только при возобновлении изоляции от мира, в тоталитарных условиях, к которым власть сама не захочет возвращаться – они уже уютно устроились в нынешней экономической системе, подразумевающей продолжение широких международных контактов. А будущее России как конституционной демократии лежит только на пути к федерализму, то есть будет определяться развитием в регионах. Только сегодня вступает во взрослую жизнь первое “небитое” поколение россиян. Что бы сейчас наши чекисты ни делали, они все равно, в конечном итоге, обречены.

27.06.2005